МИРОВАЯ КЛАССИКА

Ю. НАГИБИН

По пути в бессмертие

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Художественные впечатления от чтения «взрослых» повестей Виктора Драгунского.

- Юрий Нагибин
  - ○

Юрий Нагибин
Перечитывая друга…

Я читал эти «взрослые» повести Виктора Драгунского в рукописях, читал в журнальных публикациях, читал, когда они стали книгами, и сейчас вновь прочел в небольшом однотомнике, вышедшем в издательстве «Современник», с таким чувством, будто я их никогда не читал, до того свежо, чисто, «наперво» звучало каждое слово. Мне казалось, Драгунский вернулся из таинственной тьмы — где-то там поняли: нельзя забирать до срока человека, столь мощно заряженного жизнью, умеющего жить так расточительно и жадно, так широко и сосредоточенно, так безмятежно и целеустремленно. До чего же скудный век был отмерен этой нестареющей душе — пятьдесят восемь…

Но если представить, сколько успел сделать Драгунский в короткий срок, сколько лихих троек загнать, то кажется, что он прожил несколько жизней: в одной жизни он был шорником, лодочником, токарем, в другой — цирковым клоуном, актером кино и театра, руководителем замечательного сатирического ансамбля «Синяя птичка», в третьей — фельетонистом «Крокодила», одним из лучших детских писателей, автором известных «Денискиных рассказов», превосходным — нежным, добрым и грустным — писателем для взрослых. Конечно, все это так и не так: Драгунский прожил одну на редкость многообразную, насыщенную, напряженную и цельную жизнь, и во всех своих ипостасях оставался радостно и ярко талантлив.

И мне думается, закономерно пиком его пестрой, бурной жизни оказалось писательское творчество. Возможно, Виктор Драгунский и сам не до конца понимал это. Каждому делу, которое его захватывало, он отдавался до конца и с равным уважением относился к любой из многих своих профессий. Похоже, с речным делом он малость недобрал, и в анкете «Пионерской правды» на вопрос, кем бы вы хотели быть, если б не были писателем, искренне ответил: бакенщиком. Несомненно, он был бы превосходным бакенщиком, все-таки я уверен, что, загляни Драгунский в себя поглубже, его ответ звучал бы иначе: «Если б я не был писателем, то хотел бы им быть». Ибо только литературное творчество могло вобрать в себя весь его громадный жизненный опыт, знание и понимание людей, суммировать все виденное, перечувствованное и наделить жизнью вечной. Да так оно и сталось.

Меня не оставляет впечатление, что взрослые повести

В. Драгунского автобиографичны. На самом же деле, хотя многое тут взято из жизни автора, вымысел преобладает над автобиографией. Но что делать, если душой я отказываюсь этому верить? Мне думается, причина в авторской интонации, в той особой, доверительной интонации, что делает прозу Драгунского правдивой, как исповедь. Драгунский будто говорит с тобой с глазу на глаз, искренне, задушевно, часто взволнованно, а иногда патетически — он и этого не боится, ибо слова его из сердца. Он считает тебя умным, добрым, все понимающим собеседником, ему не страшно показаться сентиментальным, наивным, растроганным до беспомощности. И эта интонация завораживает.

Среди литературоведческих работ последнего времени, исследующих отдельные компоненты прозы, мне особенно приглянулась одна, посвященная ритму прозы. Но как ни важен ритм, авторская интонация куда важнее. Мне кажется, она сродни тембру. Бывают сильные голоса с большим диапазоном, с отличными верхами и низами, но бестембровые. А вот об иных голосах говорят: окрашенные. Пример окрашенного голоса — неповторимое меццо-сопрано Обуховой, ее узнаешь с первой же ноты. У покойного Лемешева был не такой уж большой голос, но дивный тембр придавал ему ни с чем не сравнимое очарование. И никто во всем мире не заменит Лемешева. Интонацию в прозе точно так же нельзя приобрести искусственно, как и тембр. Ее можно лишь имитировать, но чуткий читатель сразу угадает подделку. Надо думать, интонация как-то связана с природой человека, с его глубинной сутью. Драгунский очень добрый человек, он любит жизнь, людей, пуще всего малых и слабых. Он не преминет понюхать голову спящего ребенка, так чудесно пахнущую воробьями. И, придя к любимой, почти потерянной женщине, позабудет на миг о своей боли, склонившись над кроваткой ее маленького сына.

Ловлю себя на том, что вновь отождествляю Виктора Драгунского с его героями, ведь воробьиный запах учуял Митя Королев, а склонялся над спящим малышом грустный клоун Ветров…

Любопытно, что эта добрая, глубоко человечная интонация не пропадает и когда Драгунский пишет о чем-то глубоко ему отвратительном (в книгу помимо двух повестей входит несколько рассказов): о низкой, убивающей все живое корысти («Брезент»), о бездушии тех, кто забыл войну («Для памяти»), о душевном хамстве («Странное пятно на потолке» и «Далекая Шура»), В одном случае сохранить эту интонацию помогает Драгунскому присутствие в рассказе хороших обиженных людей, которых он любит и за честь которых борется оружием насмешки и сарказма,

в другом — сама правда жизни, которую попирают дурные, низкие люди.

В рассказах Драгунского никогда не бывает высмеяно все, ибо в них присутствует некий не поддающийся порче идеал, и на него опирает свой голос Драгунский. Даже в безумно смешном рассказе «Письмо» — о ревнивом начальнике охраны большого санатория Булыгине, строчащем донос на любовника жены, есть нерастворимый в кислоте сарказма кристаллик: глупая, жалкая, но искренняя влюбленность старого дурня в свою красавицу жену. И есть слезы…

Как многообразен был Драгунский и до чего же он цельный человек! Я помню его на театральной сцене и просто в жизни, всюду он был равен себе: добрый и насмешливый, растроганный и негодующий, непримиримый к пошлости, фразерству, сервилизму, жизнелюбивый до какой-то даже алчности, как человек Возрождения, не знавший удержу в пирах духа и пирах плоти. Он умел получать радость от весеннего солнечного дня, от хрусткого яблока, от рюмки холодной водки, от присутствия красивой женщины, от дружеского разговора — кто еще умел так ценить золото человеческого общения, как Драгунский! — от работы, которую делал легко, бодро, без тяжелого пота тугодумия. И главное — он был во всем артистичен. Он не актерствовал, Боже избави. Он и на сцене был до предела естествен. Этот тучный человек легко, изящно двигался, он бурлил и рокотал, как горный поток, радостно отзываясь на все творящееся вокруг, не терпел пустых, незаполненных минут, охотнее всего создавал праздник; если же тебе было грустно, больно, становился нежным, внимательным, бесконечно терпеливым. Но при малейшей возможности старался вызвать улыбку…

В Первоградской больнице до сих пор с почтительным удивлением вспоминают, как звучал смех в одиночной палате смертника, — это Драгунский сидел у постели умирающего от рака Михаила Светлова. Оба острили напропалую, и оба хохотали: Светлов, отсчитывающий последние дни, и его друг, чье внутреннее лицо плакало. Оба были сильными людьми.

Уход Михаила Светлова породил много воспоминаний, и, хотя мемуаристы из кожи лезли вон, чтобы передать грустное обаяние одного из самых одаренных и остроумных наших современников, что-то нищенское было в их потугах. Светлов неизменно выскальзывал из-под дружеских перьев. В повести «Сегодня и ежедневно», в одной из главок, в людном кабаке, сквозь табачную пелену полупризрачно реет образ дремлющего за столиком поэта. Мы догадываемся, что это Светлов, но вот

Драгунский напрягается всей своей любовью к ушедшему другу, и живой Светлов встает в рост, тот Светлов, которого мы знали, любили и от которого вечно чего-то ждали.

Как жаль, что Драгунский не успел написать воспоминаний. Он умел быстро и накоротко сходиться с людьми, и люди охотно ему открывались. У него было множество друзей: именитых и безымянных, глубокомысленных и дивно беспечных, созидателей и бродяг, гамлетов и донжуанов. Общим в них было одно: оригинальность, самобытность, умение сохранять свою личность при всех испытаниях и переменах. Таким был и сам Драгунский.

Но зачем жалеть о том, что не сделано, когда сделано так много!

Внешне рисунок «взрослых» повестей Драгунского прост и незамысловат. Вот — «Он упал на траву…». Первое лето войны. Немцы наступают. Девятнадцатилетний театральный художник Королев, а вернее; малевальщик задников, хромой и потому негодный к воинской службе, уходит с отрядом ополченцев копать противотанковые рвы на подступах к Москве. Казалось бы, что может прибавить бесхитростная история слабосильной ополченческой команды (где хромой и радикулитчик, грыжевик и язвенник) к летописи великих подвигов, созданной нашей богатейшей военной литературой? Но оказывается, не масштабы боевых действий определяют ценность литературного произведения, и нестроевики Драгунского отнюдь не тускнеют в блистательном соседстве сверхгероев батальных романов и повестей.

Итак, отправился в сторону фронта хромой маляр Королев, и не проводила его женщина, которую он любил всем пылом первого чувства, театральная премьерша, холодная и расчетливая Валя, сбил в кровь ноги, пока добрался до места назначения, и стал долбать лопатой каменистую землю. Он сдружился с чудесным рабочим пареньком Лешей, пел вместе со всеми песню о буденновском разведчике, который упал на траву, познакомился с милой деревенской девушкой Дуней и «не сделал ее своей женой», потому что все еще любил Валю, а тут немецкие танки беспрепятственно обошли «неодолимые» оборонительные сооружения и, сея вокруг смерть, устремились к Москве. Туда же стали пробираться из окружения ополченцы разбитого строительного отряда. Немецкая пуля настигла чудесного Лешу, и он упал на землю, как молодой буденновский разведчик. Давясь слезами, Королев в последний раз спел над ним их любимую песню и, зарыв друга в шар земной, ушел дальше, чтобы жить и воевать. Постигнув науку ненависти, он уже твердо знал, что никому не уступит своего места на войне. В конце повести, как и

в начале, он получает на складе новый ватник, но теперь эта добрая солдатская одежда будет согревать его не на московских рубежах, а в партизанском крае. Перед тем как покинуть Москву, он окончательно убедился, что холодная, чувственная Валя не любит его и никогда не любила. Прежде такой удар свалил бы Королева, но его нынешняя душа устояла. Она стала сильна и упруга от ненависти к врагам родной земли, от любви к однополчанам-строителям, к упавшему на траву Леше, к богатырю духа, маленькому казаху Байсеитову, к колхозной девушке Дуне и к другой девушке, погибшей от немецкой бомбы, — ко всем людям, которых он должен защищать. Противотанковый ров, отрытый с такой мукой и тщанием, не сработал на войну, но, расставаясь с героями Драгунского, мы знаем, что в те горестные дни на московских подступах возникла иная крепость, о которую и разбилась громада гитлеровских войск. Она была в сердцах тех, кто, кровеня ладони, вгрызался лопатой и ломом в твердую землю, в сердцах, теперь непобедимых…

Еще проще сюжет повести «Сегодня и ежедневно». Известный потомственный клоун Ветров приезжает на гастроли в Московский цирк, где он не выступал уже три года. У него есть женщина, которую он любит, — буфетчица цирка Таня. Но, приехав, он узнает, что Таня не сохранила ему верности, и решил порвать с ней.

Быть может, он и передумал бы, ведь Таня не так уж виновата: ей сказали, что у него другая женщина, но тут во время репетиции страшно и бессмысленно гибнет юная, редкостно одаренная воздушная гимнастка, и Ветрову все окружающее становится невыносимым, он бежит из Москвы. Эту довольно нехитрую схему Драгунский наполнил значительным человеческим содержанием. Нужна безмерная бережность друг к другу, ни в чем нельзя полагаться на авось — ни в личных отношениях, ни в профессиональной жизни. У Ветрова все сломалось с Таней, потому что она слишком легко поверила навету и совершила непоправимый шаг. Гимнастка Ирина погибла, потому что ее муж-партнер и цирковая администрация допустили в номере одну миллионную степень риска. «Не должно быть этой миллионной!» — кричит из пересохшего горла клоуна Ветрова писатель Виктор Драгунский. И вспоминаются бессмертное слова Юлиуса Фучика: «Люди, будьте бдительны!» Бдительны не только на роковых поворотах, там, где решаются народные судьбы, но и в обычной жизни, в быту, в повседневности, ибо от малого недогляда происходят непоправимые беды. От рассеянности, близорукости, легковерия,

от безобидных вроде бы слабостей, которые мы охотно прощаем друг другу, гибнут люди, разбиваются сердца, ломаются судьбы. Люди, будьте бдительны, берегите друг друга, люди!..

Я уже говорил о том, как любил Драгунский детей. И тут он не боялся патетики. Клоун Ветров исповедует веру, возносящую его профессию в ранг высокого служения самым гуманным целям времени. Он посвятил свое искусство детям и страстно хочет, чтобы они жили в добром, спокойном и веселом мире: «Я не знаю, что мне сделать, чтобы спасти детей. Я не могу положить их с собой всех, обнять их и закрыть своим телом. Потому что дети должны жить, они должны радоваться. У них есть враги, это чудовищно, но это так. Но у них есть и друзья, и я один из них. И я должен ежедневно доставлять радость детям. Смех — это радость. Я даю его двумя руками. Карманы моих клоунских штанов набиты смехом. Я выхожу на утренник, я иду в манеж, как идут на пост. Ни одного дня без работы для детей. Ни одного ребенка без радости, это понимаю не только я. Слушайте, люди, кто чем может — заслоните детей. Спешите приносить радость детям, друзья мои…»

Но Драгунскому — Ветрову этого мало. И вновь, с еще большей силой произносит он свой символ веры, звучащий как заклятье:

> «Сегодня и Ежедневно идет представление на выпуклом манеже Земли, и не нужно мрачных военных интермедий! Дети любят смеяться, и мы должны защитить Детей! Пусть Сегодня и Ежедневно вертится эта удивительная кавалькада радости труда и счастья жизни, мы идем впереди со своими хлопушками и свистульками, мы паяцы и увеселители. Но тревога все еще живет в нашем сердце, и сквозь музыку и песни мы кричим всему миру очень важные и серьезные слова:
>
> — Защищайте детей! Защищайте детей!
>
> Сегодня и Ежедневно!»

Я пишу вслед за Драгунским эти прекрасные слова, и слезы закипают в горле. Какой же он был высокий человек, этот неуемный весельчак, как серьезно и ответственно жил!..

Друг мой милый, вот и завершилось наше короткое свидание. Но мы не расстанемся. Сколько бы мне ни оставалось жить, я всегда буду помнить тебя, плакать по тебе и смеяться по тебе — прости за этот чудовищный оборот, но не знаю, как сказать иначе. Буду плакать, потому что превосходные твои повести и рассказы, такие талантливые и наполненные тобой, твоей интонацией, твоим умом, твоим теплом, все-таки не могут заменить тебя

живого. Буду смеяться, потому что ты был всегда радостью, даже в самом тусклом дне находил голубой и солнечный просвет, и подаренная тобой радость всегда со мной.

Сегодня и Ежедневно!